



Марина Ахмедова

КАМЕНЬ ДЕВУШКА ВОДА

Новый роман
финалиста премии
«РУССКИЙ БУКЕР»

«Тот, кто в горах живет,
с рождения знает,
что ему можно.
Но еще лучше он знает,
что ему нельзя».

Марина Магомеднебиевна Ахмедова
Камень Девушка Вода
Серия «Проза: женский род»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=39421807

Камень Девушка Вода: АСТ : Редакция Елены Шубиной; Москва; 2019

ISBN 978-5-17-110721-5

Аннотация

Марина Ахмедова – прозаик, журналист, заместитель главного редактора журнала «Русский Репортер». Автор книг «Женский чеченский дневник» и «Уроки украинского», романов «Дом слепых», «Дневник смертницы. Хадижа» (шорт-лист премии «Русский Букер»), «Шедевр», «Пляски бесов» и «Крокодил».

Место действия нового романа «Камень Девушка Вода» – горное село в Дагестане, совсем, казалось бы, оторванное от современного мира. Как и сто лет назад, люди верят в предания и проклятия предков, пекут цкен и расшивают пояс на свадьбу; семейные легенды вспоминают тут чаще, чем недавно отгремевшую войну. Только Джамиля-учительница обеспокоена тем, что дети всё чаще приходят в школу «закрывшись» – в хиджабах, подростки уходят в лес, где живут «правоверные». Она хранит верность традициям и старается жить по законам отцов, но вскоре и ей придется выбирать между любовью и войной.

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

70

Марина Ахмедова

Камень Девушка Вода

© Ахмедова М.М., 2018

© ООО “Издательство АСТ”, 2018

* * *

Гордый сокол мой, пусть тебя ранит стрела.
Сизый голубь мой, пусть тебя пуля сразит.
Грех тебе: ты спалил мое сердце дотла,
Мне с другой изменил – нету горше обид.
На охоте мне сокол попался в силки,
Провела с этим соколом сладкие дни.
Многих сплетниц чернили меня языки,
Но сегодня иное болтают они.
Сыплет яд мне на сердце безжалостный слух:
Мол, другая у сокола нынче в чести.
Тяжело, словно спину сломали мне вдруг
И свинцовую кладь заставляют нести.
Я с тобою доверчивой слишком была,
Из-за этого в сплетнях тону я сейчас.
Постоянства мужского в тебе не нашла,
Человеком считая, ошиблась сто раз.
Хоть, как целый аул, я рассудком сильна,
Не сумела любви своей скрыть, видит бог.

Мир на чести моей не нашел бы пятна,
Ты вошел в мое тело, как в ножны клинок.
Драгоценнейший яхонт, упавший с горы,
Из жемчужного моря коралл дорогой,
Разве сделалась хуже я с этой поры
Или в юной красе уступила другой?
Пусть достанется тело мое воронью,
Если раз хоть с другим, как с тобой, я была.
Ни тебя, ни соперницы я не виню,
Оба счастливы будьте, мне жизнь не мила.
Если вправду способна любовь замарать,
То не хватит воды, чтоб влюбленных отмыть.
Если страстью горевших неверными звать,
То с крестом на груди должен каждый ходить¹.

Анхил Марин

– Дочь учителя закрылась! – понеслось с самого утра по селу. – Дочь Шарипа-учителя Марьям закрылась!
– Шайтан, прикрой глаза! – тихо воскликнула я, усаживаясь за стол на кухне и выглядывая в окно.

Марьям удалялась по дорожке в сторону школы. Хиджаб покрывал ее голову. Кому это быть еще, как не Марьям? Кому еще выходить из дома Шарипа-учителя в такую рань? Это точно не Патимат – мать Марьям, вот уж кого ни с кем не спутать. Кто не знает, что Патимат хромает так, словно земля под ее правой ногой проваливается? Все не только в нашем

¹ Перевел с аварского Я.Козловский.

селе, но и во всем районе знают: Патимат начала хромать, родив дочь – Марьям.

Берусь утверждать, я стала первой, кто увидел ту новую Марьям. И только успела воскликнуть: «Шайтан, прикрой глаза!» Но шайтан не прикрыл глаз. Наоборот, открыл как можно шире, чтобы в них, черных, как беззвездная ночь, отразилась вся Марьям, с головы до ног одетая в черное.

И понеслось по селу: шу-шу-шу, ша-ша-ша. Десяти минут не прошло, как все село знало – Марьям закрылась! Клянусь, так и было! Хотя клясться, как любила повторять моя бабушка, да пребудет свет в ее могиле, – большой грех.

Часа не прошло, а старый Патах, ровесник моей умершей бабушки, уже мял подошвами землю на годекáне² и, щуря глаза на стоящее над горой солнце, взывал к разуму сельчан. Хотя, правду сказать, с тех пор как черная зараза потекла по нашему краю, даже к Патаху редко кто прислушивался.

– Где это видано? – вопрошал Патах. – Надеть черное, как будто в доме кто-то умер, когда в доме никто не умирал! Ва-а-а, такие вещи разве можно делать? Не по нашей вере это, – крутил он кривым пальцем возле себя. – Так, что ли, ходили Марьямины бабушки в дни кроме траура? Так, что ли, наши предки делали? Почему я должен делать, как делали предки каких-то арабов, от которых пришла эта зараза? Я хочу делать так, как мои предки делали!

² Центральное место в селе, где собираются мужчины для обсуждения текущей жизни и новостей (здесь и далее примеч. авт.).

Заложив руки за спину, Патах поплелся в сторону озера, по берегу которого любил прохаживаться в одиночку. Ведь, признаться честно, кроме чабана Хочбара и Камала, младшего сына Патаха, на годекане в тот час никого и не было, а слова Патаха, произнесенные с обидой, улетели туда же, куда с недавних пор улетали слова всех стариков. Аллах-Аллах, всевидящий, милосердный, разве не потому наше село скоро полетело в пропасть, что слова стариков потеряли вес?

Не зря в ту ночь приснился мне отец, да будет ему хорошо в том мире, где он теперь пребывает. Он явился весь бледный. Белые волосы покрыли его голову перед смертью так же внезапно, как снег за одну ночь покрывает вершины гор.

– Дочка, ты снова ничего не ела, – промолвил он. – Снова легла спать голодной.

В руках у отца был хлеб, он разломил его на две половинки и обе протянул мне – своей единственной дочери, из рук которой ангел смерти Азраил забрал его душу десять лет назад. Я взяла обе половинки, обливаясь слезами: с тех пор как умер отец, не осталось никого, кто позаботился бы о бедной Джамиле. Кто спросил бы, какая хворь поселилась в ее худом теле и отчего по утрам глаза ее полны печали? Во сне слезы текли по моим щекам, падали на хлеб, и что я увидела, о Аллах! Слезы мои оказались полны грязи, полны заразы и мути! Они лились и лились, стекая на руки, словно сель, спускавшийся с гор весной. Хлеб крошился, а слезы все не прекращались.

Проснувшись, я уже знала, что меня постигнет болезнь: отец всегда приходил накануне моих хворей. Хотел предупредить, защитить, как делал это при жизни. Но, только выглянув в окно и увидев удаляющуюся женскую фигуру в черном, я поняла – отец предупреждал меня об испытаниях, которые страшнее болезни.

Наше село стоит на горе. Дома прыгают – то вверх, то вниз. Их подпирают камнями, чтоб не сползли по склонам вниз. Когда идешь по нашим неровным дорогам, крыша какого-нибудь дома оказывается у тебя под ногами, а для того, чтобы увидеть крышу другого, приходится задирать голову. Если спуститься с горы и глянуть на наше село, оно похоже на большой муравейник, слепленный из множества каменных ячеек. Дома жмутся друг к другу. Террасами нам служат крыши соседей, и нередко наши женщины выносят туда прохудившиеся тазы, уже негодные кувшины с вмятинами на боках, сушат белье на веревках и баранью шерсть на кленках. Так было всегда. Все давно привыкли к тому, что, сидя на верхнем этаже своего дома, можно услышать быстрый стук шагов по крыше. Все знают, это не шайтан шумит, а соседка побежала снимать с веревки белье, уносить шерсть подальше от начинающегося дождя. А когда пойдет дождь, он переполнит до краев старые тазы и кувшины, те будут жадно глотать всё новые капли, и, сидя внизу, под крышей, можно слушать мелодию, которую невидимые сельские музыканты

играют на каменных барабанах и водяных инструментах.

Честно сказать, люблю, когда в конце весны приходит большая туча и весь день висит над дальней горой, видной из моего окна. Гора похожа на девушку, которая легла на спину и откинула тяжелые волосы за голову. Поэтому я называю ее гора девушка. С самого детства я смотрю на ее каменные руки, сложенные на высокой груди, плоский живот, точеный профиль. Туча постепенно растет, спускается все ниже. Когда она коснется носа каменной девушки, сразу начнется дождь. Так всегда бывает. Туча на носу – верная примета: сейчас хлынет. В этот миг, когда между носом каменной девушки и тучей остается расстояние со школьную линейку, я стараюсь вознести свою молитву Всевышнему. Еще в детстве я придумала быструю почту, которая доставляет молитву Всевышнему прямо в уши. Надо встать почти на краю крыши-террасы, поднять руки, выставив ладони перед собой, и ждать, когда первая тяжелая капля плюхнет на ладонь. Моментально снизу вспорхнут черные птицы, тревожно купавшиеся в пыли на дороге. Стрелой вылетят из под ног. Сердце вздрогнет и взлетит за ними, заговорит из самого горла, сердечно прося исполнить желание. Слова лягут птицам на крылья и унесутся в небо к Нему. Просто надо успеть, пока туча не коснулась носа девы.

В детстве я часто смотрела на гору девушку. Она была видна из окна моей комнаты. Я родилась с больными ногами и первые годы жизни только лежала на тахте, утопая в

перине, и смотрела, как по вечерам красное солнце падает на высокий лоб девы, катится по ее носу на грудь и тонет в животе. Каждый вечер ее каменный живот съедал солнце. На рассвете я просыпалась редко, хотя каждый вечер обещала себе, что утром непременно проснусь пораньше, чтобы посмотреть, как солнце выходит из ее живота.

От нечего делать я придумывала сказки о каменной девушке, и они были не такие страшные, как те, что рассказывала мне бабушка, мать моего отца, о моем предке, свирепом Занкиде, от него напрямую вела род моя мать. Рыжий Занкида наводил ужас на наше село и на соседние села. Никто не мог справиться с ним. В конце бабушка каждый раз поджимала губы и говорила, что моя мать – вся в Занкиду. Я всматривалась в лицо матери, когда та появлялась в моей комнате с подносом в руках. Она присаживалась на край тахты и кормила меня из ложки. Она почти не разговаривала со мной, а я, открывая и закрывая рот, не выпускала из потной руки свою любимую игрушку – совенка – и всматривалась в черты лица матери. Они сливались с чертами Занкиды, которого я представляла отчетливо, слушая сказки бабушки, даже видела его рыжие веснушки на щеках и руках. У матери были такие же. Постепенно я привыкла думать, что моя мать – страшная, как Занкида. Когда она выходила, я подносила совенка к лицу и, глядя в его пластмассовые глаза, рассказывала ему свои сказки. В них не было Занкиды. В них была девушка, окаменевшая от укуса лесной змеи. И солн-

це, которого раньше в мире не было. Солнце в нашем селе появилось, когда его родила окаменевшая девушка и сказала ему на прощание: «Иди, солнце, пожалуйста, на небо. Оставь меня тут. Будь свободным». Но солнце все равно каждый вечер возвращалось, чтобы спрятаться в ее каменном чреве. А я сама не любила свою мать.

Чего-чего, а камней у нас в селе хватает. Из них построили заборы, арки, ярусы для фруктовых деревьев. Ярусы тянутся через все село – узкие, серые, заляпанные ядовито-оранжевым мхом. Ширина каждого – полметра, и сначала деревья отращивали себе длинные ветви – такие, что верхние спутывались с нижними. Но теперь деревья растут невысокими, с короткими кривыми ветвями. А урожай они дают обильный.

Мой дом стоит выше дома Шарипа-учителя, отца Марьям. Можно сказать, прямо над ним. Выглянув из окна, я могу увидеть, кто входит к ним, а кто выходит. Возле их дома дорога резко начинает идти вверх, и приходится почти карабкаться до самой лестницы. Лестница крутая, высокие ступени сложены из плоских камней. За ней калитка, ведущая во двор, увитый виноградом. Одна лоза ползет по стене дома и оплетает окно кухни. Двор перед домом – небольшой квадрат, залитый бетоном. Как у всех. С него две ступени ведут на чужую крышу. Вчера я забыла там на веревке большие стальные прищепки. Они быются друг о друга, дребезжат на ветру. Вспышками отражаются в старом зеркале на стене дома, когда в них попадает луч солнца.

Вчера было воскресенье. Я весь день не выходила из дома. Крутилась, вертелась на кухне – готовила цкен. Так мы называем пирог – трехъярусный, как наши сады. В первый ярус на раскатанное кру́гом тесто кладется картошка и посыпается сухим творогом, щепоткой чабреца, во второй – свежий фарш, смешанный с кусочками сушеного мяса, в третий тоже идет картошка. Всего на цкен нужно раскатать четыре круга. Когда ярусы уложены, края защипываются по кругу косичкой. Нелегкая это работа. Нужно спуститься в чулан, снять с крюка подернутую желтым жиром сухую баранью ногу. Ее я купила еще в конце весны у мясника Мамеда. Обещал, что мясо нежесткое, молодое, но, клянусь, эту ногу не разжевать. Приходится срезать с нее мясо тонкими стружками и крошить их мелко. А когда я упрекнула Мамеда, что продал мне старую баранью ногу, он даже не подумал извиняться или придумывать себе какое-нибудь оправдание, а только огрызнулся:

– Женщина, ты неправильно посушила его! Женщина разве умеет сушить мясо!

Пф, что себе позволяет этот мясник? Этот болван, посчитавший себя умным! Я учила всех его сыновей, от старшего до младшего. А теперь в моем классе протирает юбку дочь его Рукият. Воистину, еще как глупость передается по наследству! Мамед учился со мной в одном классе и только по доброте Шарипа-учителя не оставался на второй год. Младшая дочь его, Рукият, не смогла выучить даже алфавит. А ее

братья до сих пор читают по слогам и морщат при этом лоб, как будто он вот-вот треснет. Хотя старший уже в десятом классе. Только по физкультуре его дети получают хорошие оценки. Иногда мне кажется, легче было бы учить сельского дурачка Абдулчика.

Но не стала я в тот раз спорить с Мамедом, объяснять ему, что засушила ногу по всем правилам: просыпала в меру каменной солью, нашла самое тенистое место в саду, где не бывает мух, на ветке инжирного дерева. Туда почти не попадает солнце. Не знаю, за что мать так любила это дерево. Оно даже плодов нормальных не дает, вся сила уходит в листья. Этой осенью собрала только тарелку твердых, как сжатый кулачок, маленьких, недоразвитых плодов.

Я понюхала мясо. В горле запершило от тонкой приторности. В следующий раз куплю мясо у кого-нибудь другого. Надо перестать доверять людям, они обманывают друг друга, и их не останавливает даже то, что мы живем в одном селе и наши дорожки часто пересекаются. Но, видать, Мамед считает меня простофилей. Может, перестанет себя так вести, когда и я больше не стану из жалости ставить его детям тройки, а они даже их не заслуживают. Острым ножом я срезала четыре острые стружки, прихватив комок жира, чтобы зашить его под косичку цкена. Он придаст пирогу аромат и сделает корочку мягкой.

Развернула белую ткань, в которой на подносе зрел сушеный творог, набрала несколько кулаков. Сняла крышку с

банки топленого масла, в нос ударила теплая молочная прелесть. Зачерпнула ложкой. На нем изжарю лук.

Больше всего в цкене я люблю ярусы из теста, на которых держится начинка. В пироге они пропитываются жиром, маслом, картофельным паром, луковым соком. Еще в пятницу я решила побаловать себя в выходные цкеном после той сцены, которую устроила мне в школе Марьям. И Абдулчик непременно заглянет ко мне в воскресенье, поднимется по лестнице, толкая перед собой колесо, сидящее на крючке палки. Затарабанит кулаком в калитку, выпрашивая садака!³. Всю неделю он ходит по разным домам, а моя очередь – в воскресенье. Никто не гонит Абдулчика прочь. Грех обижать таких людей. Аллах может покарать – сделать так, чтобы в семье родился такой же ребенок.

Раскатывая тесто, я поглядывала в окно, поджидая Абдулчика. День тек спокойно. С годами наше село не менялось, и, наверное, таким же его видела моя бабушка, когда была молодой. Но это касается только камней. А люди, да простит меня Аллах, люди поменялись сильно. Взять, к примеру, ту же Марьям, дочь учителя Шарипа. Сколько наглости в этом молодом создании! Фах, что она о себе думает, нахалка? Думает, если ее назначили завучем, когда ей исполнилось всего двадцать пять, все перед ней на цыпочках будут ходить? Валлахи, не будут! Я ни за что не буду.

Слышал бы кто, что она сказала мне в пятницу утром, ко-

³ Милостыня, пожертвование.

гда я стояла в школьном коридоре у окна! Звонок на первый урок еще не прозвенел. В тот момент зевота одолела меня. Может, я и зевнула чуть громче положенного да чуть шире нужного открыла рот.

– Джамиля Гасановна, – услышала я голос Марьям. – Разве вы не знаете, что во время зевоты рот следует прикрывать тыльной стороной ладони?

Я вросла в пол от такой наглости. Марьям довольно поджимала пухлые губки. Как бы не показать этой молодой нахалке, что она смутила меня.

– Марьям Шариповна. – Я постаралась говорить спокойно. – Вы появились за моей спиной так внезапно. Не думала, что кто-то смотрит на меня.

– Ну что вы! – Она улыбнулась. – Шайтан неустанно смотрит на вас и радуется, когда вы зевааете напоказ.

Марьям повернулась ко мне спиной и пошла по коридору как ни в чем не бывало. А на меня как будто вылили кувшин ледяной воды. Да кто она такая, чтобы так разговаривать со мной? В конце концов, я старше ее на пятнадцать лет! Я ее знала вот такой – высотой с табуретку, на которую садилась моя бабушка, чтобы перебрать черемшу или начинить коровьи кишки фаршем. Сейчас эта табуретка без дела стоит под кухонным столом. Слыханное ли дело, чтобы во времена моей бабушки какая-нибудь соплячка вот так подошла к уважаемой сельчанке, учительнице, соседке, и с вызовом начала ее поучать. Куда мир катится, о Аллах? Что с нами бу-

дет? Валлахи, мир стал подобен колесу, надетому на палку Абдулчика!

А как плыла Марьям по коридору? Как султанша! Рыжая коса жирной змеей струилась по толстой спине. Дылда – вся в мать пошла, в Патимат. С таким весом лучше не носить узкой одежды. Но правила существуют не для Марьям. Всю зарплату она тратит на вещи. Каждый месяц ездит в Махачкалу за покупками. А как ярко она красит ногти! Даже наш директор Садикуллах Магомедович не выдержал и сделал ее отцу замечание: нельзя с такими ногтями детей учить. А Шарип-учитель в ответ: «Она еще молодая, пусть одевается как хочет. У Марьям два высших образования, она хорошо учит детей». Никогда мой отец такого бы не одобрил, пусть у меня хоть три высших образования было б. И эта вертихвостка еще смеет делать мне замечания!

Я аккуратно зашипнула края пирога и отправила его в духовку. Заварила свежий чай, положила на блюде пару фиников и села за стол. Дула на чай, откусывала от финика, смотрела в окно. В духовке румянился цкен, плавился кусочек жира, и по кухне струился запах сушеного творога, перемешавшись с пряностью чабреца. Скоро придет зима. Дом, в котором я осталась одна, промерзнет, холод поднимется по его камням до самой крыши. Дотронется и до меня. Но в эту зиму я не поддамся хандре, буду согреваться чаем, печь цкены и не обращать внимания на молодых нахалок. Ворота Шарипа-учителя приоткрылись, из них вышел Кривой Ильяс –

младший брат Марьям.

Одной стороной лица Ильяс как будто все время веселится. Лет десять назад Шарип-учитель в своем саду сбивал орехи с дерева камнем. Он не заметил, что на одном дереве сидит его шестилетний сын. Камень попал Ильясу в лицо. Наверное, и шайтан закрыл уши, услышав, как закричал Шарип-учитель, когда его сын, даже не пикнув, свалился вниз. Ох, что это был за крик! Сухой, короткий, будто выстрел из старого ружья. С тех пор Ильяс pokrивел на одну сторону.

Когда я вернулась после учебы из города, то первое, что услышала из нашего окна, – детский смех Марьям. Они ведь наши соседи. Вернулась я ослабшей и уставшей. В тот год умерла бабушка, так и не дождавшись моего замужества. Я сохла от любви, как кусочек свежего творога, завернутый в белую тряпку и подвешенный на крюк в чулане. Мое несчастье распространяло запах – кислый и липкий. Закрыв лицо руками, я плакала, сидя на краю тахты. Под ногами складывались тени и полосы света. Весь дом был пустым и холодным. Вместе с бабушкой из него ушла душа. Огонек в светильнике ее жизни погас. В этот миг я услышала детский голос. Забравшись на чужую крышу, Марьям дотянулась до моего окна. Свет играл в ее волосах.

– Джамиля, ты почему плачешь? У тебя что-то болит? – спрашивала она.

– Упадешь, Марьям, – отвечала я.

– Джамиля, посмотри, да, в окно. Подойди, да.

– Я не хочу.

– Подойди, – настойчиво повторяла она.

Нехотя я встала и подошла к окну. Выглянула, щурясь на дневное солнце.

– Смотри, – держась рукой крепко за подоконник, Марьям повернулась и показала пальцем на радугу.

Она росла из груди девушки-горы и, перегнувшись дугой, падала вторым концом в мягкий лиственный лес. Он рос на краю длинной горы. А лес бежал дальше, перекидывался на следующую гору и кучерявился темно-зеленым на ее нежно-травяном ковре.

– Папа сказал, под концами радуги появляется золото! Я побегу сейчас, найду золото для тебя, – тараторила маленькая Марьям. – Сделаешь себе сережки и браслеты.

– Зачем мне сережки и браслеты? – спросила я.

– Будешь еще красивее. – Марьям с детской преданностью посмотрела мне в глаза.

– Разве я красивая? – усмехнулась я.

– Ты самая красивая в нашем селе. Когда я вырасту, я буду учительницей, как ты. Папа говорит, ты самая умная из всех, кого он учил. Я хочу быть как ты, Джамиля.

Придерживая Марьям за руку, я помогла ей спуститься.

Марьям вернулась, когда солнце собиралось садиться. Оно заталкивало свои лучи в складки гор, словно скряга припрятывая золотые сокровища. В такой час трава на длинной горе светлеет, а из леса поднимается золотая дымка. Ма-

рьям громко плакала, стоя на дороге.

– Марьям! – позвала я из окна. – Ты почему плачешь?

– Джамиля, я добежала до речки, радуга в нее зашла, а из-под воды я же не могу золото достать!

Мать, жарившая халву на чугунной сковороде, громко рассмеялась, услышав Марьям.

– Стой там! – крикнула я. – Сейчас я к тебе приду.

Я зашла в свою комнату, открыла деревянную шкатулку, стоявшую на столе. Нашла в ней бусину из золотого песка, оставшуюся от старых бус. Спустилась по лестнице. Марьям ждала меня. Солнце сразу забралось в бусину, в каждую золотую песчинку в ней, стоило мне открыть ладонь. Марьям ахнула.

– Это что, мне? – Она приложила пухлую руку к груди.

– Конечно тебе.

– Я сделаю из нее браслет. – Пальцы Марьям клюнули мою ладонь.

Весело смеясь, она побежала к своему дому. Подняв голову, я увидела, что на меня из окна смотрит мать, держа в руке большую плоскую ложку с остывающей халвой.

Я устроилась работать в школу. Мне хотелось, чтобы у меня училась Марьям, но мне передали второй класс учительницы, которая в том году ушла на пенсию. Через десять лет моим учеником станет сын Шарипа-учителя, Ильяс. Камень уже разбил ему лицо, и я, как могла, старалась защитить его от насмешек. Но прозвище Кривой все равно прилипло к его

имени. На одном уроке Ильяс не выдержал и расплакался. Он плакал так искренне, что я сама чуть не разрыдалась вместе с ним. Ильяс выскочил за дверь во время урока, побежал по коридору. В класс он вернулся вместе с сестрой, десятиклассницей Марьям. Она молча по очереди отвесила каждому мальчику звонкую пощечину.

– С этих пор, – сказала Марьям, – я буду выкручивать руки и ноги тому, кто посмеет обзывать моего брата.

Больше никто не осмеливался доводить Ильяса до слез. Но конец издевательствам положил мой одноклассник Расул Борода, который тогда еще не был Бородой, жил в селе, а в лес ходил только за хворостом и черемшой.

Шарип-учитель был моим классным руководителем, когда я сама еще училась в школе. О, что это были за времена! Благословенные Аллахом времена! Тогда уважали учителя. Сельчане, приводя детей в школу, говорили учителю: «Бей его. Не жалея. Бей хорошенько. Только человека из него воспитай». Иногда учителя так били мальчиков, что я зажимала уши, чтобы не слышать, как затрещина звенит на весь класс, как указка со свистом опускается на спину провинившегося. На перемене побитые ученики подходили к учителю: «Учитель, только отцу моему не говори». Они знали, что дома их побьют в три раза сильнее, если учитель встретит на дороге отца и пожалуется на поведение сына. Но только Шарип-учитель своих учеников никогда не бил. Он просто вставал напротив и долго смотрел в глаза. Аллах, что за глаза у этого

человека! Один раз я не выучила урок, и Шарип-учитель посмотрел на меня с таким сожалением, что у меня все внутри перевернулось. Даже спина у Шарипа-учителя – говорящая. По ней, пока он писал на доске, мы определяли, доволен он нами или нет. Честно сказать, других учителей ученики любили больше. Когда учитель ударял тебя указкой, ты знал: всё, его недовольство закончилось, из-за одной и той же провинности он не поднимет руку во второй раз. А встретив отца на дороге, ничего не скажет: провинившийся уже наказан. Только с Шарипом-учителем все было не так: он не жаловался на учеников родителям, но даже через несколько дней ученик помнил о своей вине и Шарип-учитель тоже помнил.

А сейчас все перевернулось с ног на голову! Попробуй тронь ученика, сразу в школу весь его тухум⁴ прибежит.

– Ты что, моего ребенка тронул? Ты кто такой, чтобы моего ребенка трогать?! Я для того, что ли, своего ребенка родил, чтобы ты его бил?!

Как они кричат! Шайтан оглохнет. А между прочим, сами они дома, что ли, не бьют своих детей? Еще как бьют. Только когда их дети по неверной дорожке начинают идти, родители хай-вой поднимают, школу во всем винят. А школа опять при чем? Всегда во всем виновата школа. Аллах-Аллах, что-то разгорячилась я. Пора вынимать цкен. Еще не скоро отойду от наглости Марьям. Двадцатипятилетнюю вертихвостку назначили завучем. Аллах им всем судья... Несправедливо

⁴ Род, родня.

это по отношению к старшим учителям. Хотя справедливости на этом свете нет, и не стоит ее искать. Еще древние мудрецы признавали: в мир людской справедливость не заложена. Мир – как кувшин, заполненный до краев. Нечистью, гордыней и обидами. А если мир полон, то даже Аллах не может в него ничего долить. Он посылает дождь своей милости, но переполненные тазы и кувшины, выставленные людьми на крыши чужих домов, чавкают, пузырятся, изгоняют новую воду, выливая ее через край.

Но если все-таки говорить по справедливости и забыть на время о том, что мой род много веков враждовал с родом Шарипа-учителя, то надо признать: он хорошо учил детей. А на последнем звонке он даже заплакал, провожая нас из школы. Многие тогда простили ему прежние обиды.

– Шарип-учитель плачет, – зашептали выпускники.

Шарип-учитель вышел на середину класса, чтобы сказать нам прощальные слова. Он никогда не проявлял чувств. Даже улыбался он скуп и говорил мальчикам: «Мужчина должен улыбаться чуть-чуть – только усы немного приподнять и два зуба показать».

– Дети... – обратился Шарип-учитель к нам в тот день.

Плечи его опустились, а к подбородку подкатил кадык. И в тот раз Шарип-учитель, всегда умевший найти слова, не нашел больше ни одного. Повернувшись, он вышел из класса, чтобы мы не видели его слез.

– Как же так? – загалдели ученики. – Получается, все это

время Шарип-учитель нас любил? Какими мы были неблагодарными!

Больше всех горячился Расул, подливая масло в огонь любви, внезапно вспыхнувшей к Шарипу-учителю. А его-то Шарип-учитель наказывал чаще всего – сверлил глазами так, что Расул краснел до самого воротника. Но в тот день Расул забыл обо всем. Все забыли. Всем стало стыдно.

Но меня вовремя остановил отец.

– Дочка, – сказал он, когда мы вместе шли по дороге и край белого школьного фартука мягко бил по моим коленям, а новые лаковые туфельки мелькали по желтой земле быстро, будто никогда мои ноги не знали костылей. – Ты не должна позволить себя обмануть.

– Кто хочет меня обмануть, отец? – спросила я.

– Твое сердце, – ответил он. – Оно надулось эмоциями, как воздушный шарик. А ты помни, что шарик пустой. Никогда не забывай, что такое душа, дочка. Душа вот здесь. – Ребром ладони отец ударил себя по груди, выше сердца. – Душа – это работа ума и сердца. Они сходятся в душе. А твое сердце, дочка, сейчас позволило разуму забыть историю твоего рода. Джамиля! – Отец приостановился, но на меня не смотрел, он смотрел вниз, на крышу одного из домов, находящуюся у нас почти под ногами. – Ты сделана из костей твоих предков. Из поколения в поколение наш род шел к тому, чтобы произвести тебя. Из твоих костей выйдут новые люди. Но чтобы они с каждым разом становились сильнее,

мы не должны забывать тех, кто делал нам зло.

— Тогда почему мои кости болели с самого рождения? — спросила я. — Почему я столько лет пролежала в постели, когда мои ровесники бегали и прыгали? Если род Шарипа-учителя так виноват перед нами, почему не заболела его дочь?

— Джамиля, — покачал головой отец. — Жизнь долгая. Как ты можешь судить о конце, находясь в начале пути?

В тот день, стоя на дороге рядом с отцом, я почувствовала, как возвращается невидимая рука, что сжимала мне сердце, когда, лежа на тахте, я разглядывала свет, бьющий в окно за моим изголовьем. За долгие часы, дни, месяцы болезни, которые сложились в годы, я научилась различать все оттенки света. Теперь мне не надо смотреть на часы, чтобы определить — скоро полдень, обед, а через пятнадцать минут начнет вечереть, хотя солнце еще и не думало садиться. А завтра, например, будет дождь, ведь в воздухе уже появились невидимые глазу пылинки, из них ненастье к утру слепит темные тучи.

Кривой Ильяс прошел под моим домом, а за моим домом дорога уже ведет в лес. Ильяс пошел в сторону леса! Я достала из духовки цкен. Абдулчик так и не пришел. Ничего, отложу ему кусочек.

Что Ильясу делать в лесу? Нечасто теперь люди ходят этой дорогой. Помню времена, когда в начале мая под нашим домом толпой проходили женщины с холщовыми мешками на плечах. Они направлялись в лес собирать черемшу. Мы с ма-

терью присоединялись к ним. Поднимались к голове девушки-горы, проходили по ее каменному носу, слушая реку, поющую у нее под боком. Переходили на пологую гору и тяжело шли вверх. Река внизу – непроницаемая серо-голубая змея. В ней мокнут каменные складки серого платья девушки-горы. С дальней стороны в реке отражались тени деревьев, туда мы спешили, на тот участок леса, где всегда росла на кочках самая нежная черемша.

Я знала, как только перейдем на другой бок горы, перед глазами развернется алое поле. Маки, дрожа и капризная на ветру, краснели до зеленых холмов, а за холмами начинался лес. У нас есть поверье: нельзя приносить маки, случится плохое. Может быть, из-за их цвета, напоминавшего кровь. Я не верила в эти поверья, сельские любят придумывать, когда не могут природу объяснить. Но маки все равно не рвала: они вяли прежде, чем успеешь донести их до дома. Я застывала на месте и смотрела вниз, держа пустой мешок на плече, глубокими вздохами запуская в легкие и пряность просыпающейся земли, и свежесть речки, оставшейся позади, и клей почек лесных деревьев. Придет время, и Расул прикажет своим людям сжечь это поле – из-за дурмана, который доставали из коробочек маков. Вместо красного поля на горе появится черное пятно.

В лес женщины заходили со смехом и песнями, чтобы духи, населяющие его, знали: они пришли с миром и больше, чем уместят их мешки, не возьмут. Наши горские законы,

написанные неизвестно когда и неизвестно кем, запрещали рвать слишком много черемши. За чрезмерность духи наказывали. Каждая хозяйка должна была унести с собой ровно столько, сколько хватило бы ей на пять пирогов, которые она тем же вечером будет печь для семьи. На одну толстую косу, которую она сегодня же сплетет из черемши и повесит на крюк в чулане, чтобы зимой отщипывать помаленьку, перетирать в пальцах и добавлять в суп или в сметану для хинкала. А еще чтоб хватило на трехлитровый баллон, который она заполнит стеблями черемши и зальет до краев рассолом. Выкидывать непригодившуюся черемшу считалось грехом, ведь лес и так отдает человеку лучшее. А черемша вырастала из-под снега, считалась первым даром леса.

Отец говорил, духов наши умные предки придумали, чтобы защитить лес от глупых людей. Скажи им, что всю черемшу рвать нельзя, она исчезнет для будущих поколений, разве станут они думать о тех, кто придет им на смену? Нет, их можно было держать только страхом. Умные предки сказали глупым – духи обидятся и накажут. Если бить кабана, медведя, барсука без счета, если убивать беременных лосих, духи сделают так, что охотник умрет в молодости или будет нищим в старости. Мы сами придумали лесных духов и сами боялись их, говорил мой отец. Хорошо, не дожил он до того дня, когда сельские начали бояться Расула и его людей, поселившихся в лесу, больше, чем духов. Духи от нас не требовали того, чего требовал Расул. Многие ждали, когда духи

покарают его! Но, видимо, Расул сам покарал духов.

С тех пор сельчане забыли дорогу в лес. Уже десять лет обходят его стороной. Не только Расула боятся они, но и того, что кто-то донесет: видел, мол, шел такой-то в лес. Значит, связь держит с лесными, еду им относит. Мы приучили себя ездить за черемшой в район, хотя в нашем лесу растет самая вкусная. А на районном рынке – недобросовестные продавцы. Сколько раз я ни просила черемшу с белым, а не фиолетовым стеблем, сколько раз ни повторяла: «Мне нужен пучок без стрелок» – и как ни разглядывала его, раздвигая листья, все равно, придя домой и смотав с пучка веревку, находила в середине фиолетовые стебли, выбросившие стрелки. В зацветшей черемше собирается горечь, можно желудок обжечь. А лес нас никогда не обманывал и не брал денег за черемшу, за грецкие орехи, за фундук, за алычу, за ежевику, за саженцы, за кизил, за горький мед, за хворост. Но теперь нам приходится все это покупать. Сельчане предпочитают ездить на рынок, чем один раз встретиться с Расулом в лесу.

Ильяс ходил в воскресенье в лес. А в понедельник утром Марьям закрылась. Точно говорю, в этом ее поступке замешан Расул. Марьям считает его своим благодетелем. А я считаю, что он в тот день пустил ей пыль в глаза. Мои глаза и уши всему были свидетелями. В тот день он сам пожаловал ко мне на урок. Зашел без стука. Я встала из-за стола. Расул весело окинул меня взглядом, как будто мы только вчера

встали из-за одной парты.

– Здравствуй, Джамиля, – сказал он.

– Что ты хотел, Расул? – спросила я.

– Эй, Ильяс, давай, сбегай за Марьям, – обратился он к вскочившему с места Ильясу.

– Расул, только я могу разрешить ученику покинуть класс, – сказала я, но Ильяс, улыбнувшись одной стороной лица, уже выбежал в коридор.

Расул смотрел на меня прищурившись. Он не принимал меня в расчет или считал, что, раз мы десять лет просидели за одной партой, он может хозяйничать у меня в классе. Или у него была для этого другая причина? Я тоже разглядывала его, хоть мое сердце от смущения билось, как поварешка о дно чугунок. Расул стал шире в плечах, двигался тяжело, как медведь. Он отрастил до кадыка жгучую бороду. Мне было известно, что он – уже отец троих детей.

К тому времени Расул имел влияние на молодежь. Он ходил по домам и рассказывал, что отныне люди должны откинуть наши законы гор и начать жить по исламу. Не по тому исламу, которому сельчане следовали даже в годы Советского Союза, а по новому – по арабскому. Не пить, не курить, не спать с чужими женами. Не обманывать, не брать чужого имущества, не предавать Всевышнего. И во всем, что говорил Расул, было только хорошее, каждое его предложение было благим, но оставляло после себя скользкий след. От той дорожки, на которую звал Расул, веяло тревогой, на ней ле-

жала холодная тень неизведанного. Нередко молодежь соби-
ралась в мечети, чтобы послушать Расула, хотя тот не был
муллой. К нему приходили с просьбой рассудить конфликты
с соседями, семейные дела. Постепенно Расул начал играть
в селе роль, которую раньше, до революции, играли кадии.
В районе и в городах работал государственный суд. Но люди
почему-то предпочитали, чтобы их рассудил Расул.

– До меня дошли разговоры, что вы насмехаетесь над сво-
им одноклассником, – начал Расул, заняв мое место у дос-
ки. – Я прошу вас больше таких вещей не делать. Разве вы
не знаете, – Расул повысил голос, – что, насмехаясь над тво-
рением Аллаха, вы насмехаетесь над самим Аллахом? – Он
обвел взглядом притихших учеников и улыбнулся одними
уголками рта, наклонился вперед, как будто показывая: он
всех готов услышать. – Разве вы не знаете, – еще выше за-
звучал его голос, – что те, над кем вы смеетесь, могут быть
лучше вас? Дети, я передам вам слова нашего Пророка. Как-
то он сказал: «Воистину, когда человек, насмехавшийся над
другими людьми, умрет, ангелы распахнут перед ним рай-
ские ворота. Но как только он захочет войти, ворота захлоп-
нутся. Ворота откроются снова, и ангелы снова позовут того
человека. Но только он сделает шаг, как они опять захлоп-
нутся. И так бесконечно будут открываться и закрываться
ворота перед тем, кто насмехается над чужими увечьями».

В классе повисла тишина. Скрипнула дверь. Вошла Ма-
рьям. Она держала за руку Ильяса. Марьям стала высокой,

в теле ее уже тогда угадывалась тяжесть полноты. Ее волосы были заколоты у висков и лежали волнами на спине. Другую руку Марьям держала в кармане черной узкой юбки.

– Заходи, Марьям, – дал разрешение Расул.

Она сделала шаг к доске, крепче сжимая руку брата.

– До меня дошли жалобы, что Марьям, мол, побила мальчиков, – обратился Расул к классу. – Что повела она себя неподобающе, подняла руку на мужчин. – Замолчав, Расул заглянул в лицо каждому мальчику. Под его взглядом те опускали головы. – Покажите мне, кто из вас мужчина? Ха? Ты? Ты? Или ты? Мужчины не опускаются до издевательств! – Расул ударил пальцем, разбивая воздух перед собой. – Если пришли времена, когда мужчины не ведут себя как мужчины, женщине приходится брать на себя эту роль. Марьям поступила как истинная дагестанка, защитив своего младшего брата. Когда пойдете домой, передайте своим братьям, что первый, кто бросит неправильное слово в сторону Марьям, будет иметь дело не с ней, он будет иметь дело со мной.

Тихими шагами, почти крадучись, Расул обошел Марьям и покинул класс. Из темного угла я наблюдала за ее лицом: его как будто за один миг разбили и слепили заново. Оно осталось таким же, но в него добавили еще что-то. Как я припрятываю в цен тайный продукт, который полностью растворяется, но знать о себе дает.

Выходя, я повесила замок на двустворчатую дубовую дверь. Со временем покрывавший ее лак стерся, а на коричневой поверхности проявился древесный узор. Эту дверь ставил еще мой прадед, а отец отказывался менять на новую.

Ветер принес во двор листья. Ветры с сентябрем осмелели, ночами носились друг с другом наперегонки джигитами на вертлявых конях по ущельям и лесу, приносили к утру в село то, что должно было кануть в прошлое – прошлогодний снег или листву.

Я заглянула в глиняный кувшин, стоявший на ограде. Она отделяла наш двор от чужой крыши. На дне плескалась дождевая вода, от нее пахло накрахмаленными облаками. Пройдет недели две, и я начну находить в кувшине веточки и перья ворон, петухов. Ветры повадились устраивать в моем кувшине тайник. Летом я храню в нем прищепки. А осенью отдаю его ветрам.

Я спустилась по лесенке на террасу. Пронзительное солнечное утро текло под ногами. Я наклонилась, и стал ближе запах навоза, надрывающий сердце рев буйвола, беготня далекой речки. Только в этот утренний час можно услышать ее звонкие всплески, скоро их заглушат звуки дня. А ночью речка, придавленная темнотой, сменит голос, зашуршит, как сброшенная кожа змеи.

Длинная гора курила две полосы тумана. Их рваные концы тянулись через все село, съедая часть зеленого минарета. Верхняя полоска, сцепившись с небом, растворялась в нем.

Под ногами – день солнечный, над головой – туманный. Через пару часов туман ляжет на солнце, задавит его. Туман родили горы. А в горах нет ничего сильнее гор.

«Джамиля, иди в школу. Скоро первый урок, – напомни-ла я себе. – Тебе все равно придется туда пойти. Даже после того, что случилось в пятницу». Марьям ведь пошла. Я сняла с веревки прищепки, спустилась во двор и бросила их в карман висевшей на гвозде шерстяной кофты. Заглянула в зеркало. Оно, повернутое к горам, отражало крыши домов, бегущие вниз, зеленый минарет, тонувший в полосе тумана, виноградную лозу, и через зеркало было заметно, как подернулась желтым изнанка ее листьев. Зеркало светилось, словно притягивало к себе весь блеск дня и белизну тумана, делало все отчетливым, прозрачным, заставляло видеть то, чего не видели глаза, глядящие в ту же сторону, что и зеркало. Я с детства не любила в него смотреть. Оно было безжалостно к моим веснушкам и узким желтоватым глазам. А сейчас зеркало, не зная жалости, показывало все мои морщинки и всё те же веснушки. Годы так и не избавили меня от них.

Заперев ворота, я спустилась по дороге. Над моей головой Патимат хлопнула окном. Я свернула в узкий проулок и пошла, обгоняя коров, неспешно размахивающих хвостами, между домами. Только вверху в их глухих стенах были прорезаны высокие окна. В одном доме уже никто не живет, а раньше жила одинокая Муслимат. Она давно умерла. От стены отвалились большие куски глиняной штукатурки, обна-

жив давно не видевшие света камни. Камни напоминали зубы старика, показавшиеся в редкой улыбке. На низкой деревянной скамейке лежала пыльная, продавленная посередине подушка, когда-то брошенная Муслимат. Многие годы она лежит тут под защитой шиферного навеса. Никто на нее не садится, кроме Абдулчика. Тут он останавливает свое крутящееся без остановки колесо, кладет его рядом с собой и сидит столько, сколько дурачку взбредет в голову.

Мост, ведущий к арке, – из старых почерневших бревен. Они перекинуты с одной каменной кладки на другую. Камнями, издавела напоминающими яйца индюшек, укрепили два стоящих друг против друга холма. На краю холмов – дома. Как раз фундаментом им и служит кладка. Если камни из нее вынуть, дома постепенно сползут вниз, оставив после себя такую же груду камней, как и та, что белеет под мостом. Некоторые не боятся ходить по мосту, перилами которому стали колючие прутья ежевики. Но я предпочитаю сделать крюк, пройти под мостом. Частенько я вижу, как Марьям идет по мосту. Поэтому, выйдя из дома одновременно со мной, она первой приходит в школу. Не думала я, что она начнет задирать нос перед учителями. Она ничем не лучше нас.

И что понесло Марьям в школу в такую рань? У нее сегодня нет первого урока. А я останавлиюсь-ка лучше в арке. Передохну. Постою, прислонившись спиной к холодным камням. Не несут меня ноги сегодня в школу. Свой первый шаг

я сделала только в пять лет. С детства мои колени первыми чувствуют тревогу. Кто-то хватается за сердце, а я – сразу за них.

Почему я такая трусиха? Прав был отец, когда говорил, провожая меня поступать в институт: «Ты не сможешь, дочка. Не выживешь там. Лучше оставайся дома, со мной и матерью, грей свои больные косточки у теплых стен». Не смогла я забыть этих слов отцу. Когда я родилась, мать, увидев мои ноги, первая похоронила меня в теплых одеялах и матрацах. Не верила, что когда-нибудь я смогу ходить. В старину такого младенца, как я, задавили бы буркой. А отец всегда повторял: «Ты сможешь!». «Дочка, ты сможешь!» – сказал он, когда мне под мышки больно врезались костыли. Почему же в тот день, когда я захотела жить самостоятельно и уехать из села в город, отец впервые в жизни произнес эти слова: «Ты не сможешь, дочка»?

От камней арки пахло подземными водами и бархатом оранжевого мха. Раньше я думала, такие оранжевые ожоги оставляет на камнях солнце, но в арке всегда стояла сырая темь. Арка шла вниз, к медресе, солнце сюда не попадало, задержанное стенами домов. Здесь старались не замедлять шаг – из-за холода и тонкого змеиного запаха. Старались громко не разговаривать: камни сразу начинали кричать в ответ, гулко возвращая твой собственный голос. Но я, так и быть, остановлюсь на минутку и подумаю о том, что произошло в пятницу. Если я об этом подумаю, медленно прокручу

перед глазами ту ужасную сцену на третьем уроке, мне будет легче набраться сил и шагнуть в школу, куда еще в пятницу вечером я клялась не возвращаться. В арке никого сейчас нет. Можно стоять, прижимаясь к камням, и слушать их глубокое молчание, гоня мысли о змеях, которые нет-нет, а скручиваются кольцами под камнями, наваленными у стен.

Но ведь эта вертихвостка Марьям отправилась в школу, и ей всё нипочем! Еще и вызов бросила – надела хиджаб. Что будет, когда директор увидит ее? К таким громким вызовам наше село непривычно. С тех пор как Расул, натворив неправых дел, навсегда ушел в лес, никто из сельчан больше таких дерзких вызовов не бросал.

Арочная дуга открывала вид на пик горы. Солнечные лучи терзали собравшийся на нем туман. Скоро старая Зарема, наша уборщица, пройдет по коридору, тряся колокольчиком. Я так привыкла слышать его звон, что он звучит у меня в ушах, стоит о Зареме подумать.

Новый класс, четвертый, достался мне в сентябре. Два мальчика и восемь девочек: Мехмет, Закир, Зульфия, Абида, Мессед, Саидат, Хадижат, Рукият, Сирена и Мумина. Мумина была очень хилой. Совсем как я в детстве. Первого сентября я зашла в класс, увидела ее среди учеников, и в сердце моем открылся тот маленький уголок, который я всегда прятала от других и даже от себя самой так далеко, что мне казалось, он иссох и никогда больше не потревожит меня болью. Мне захотелось погладить девочку по голове,

покрытой зеленым платком. Аллах, Аллах, что за личико у нее было – бледное, страдальческое! В ней я узнавала себя. Я улыбнулась ей, и в ответ она посмотрела на меня как напуганная птичка. Я никогда не имела привычки выделять кого-то из учеников, но, не сдержавшись, подошла к Мумине и погладила ее по спине. Если бы у меня была такая дочка... В тот момент мне хотелось заплакать, но я проглотила горький комок, подкативший к горлу. Да, Мумина была похожа на птичку – на моего совенка. С утра до вечера я держала его в руках, желая в его вытаращенных пластмассовых глазах прочесть ответ на вопрос: почему я не могу бегать и играть, как другие дети? Их веселые голоса звенели за окном. Почему я одна прикована к постели?

Я посадила Мумину за первую парту. А рядом с ней Мехмета – невысокого щуплого мальчика. Мумина весь урок просидела неподвижно, как каменная. К концу урока я поняла: девочка не хочет сидеть с мальчиком. Это все влияние родителей! Ничего плохого не вижу в том, чтобы мальчик и девочка сидели за одной партой. Я сама с первого класса сидела за партой с мальчиком – с Расулом. Но сейчас влияния у учителей не осталось, я даже заикаться боюсь о том, что три девочки в классе – в хиджабах. Мумина – в зеленом, низко надвинутом на узкий лоб. Рукият – в черном, закрывающем лоб, уши и подбородок. Сирена – в широком платке. А какие волосы у Сирены! Золотые, как пшеничные стебли! Зачем прятать такую красоту, если она дана для того, чтобы

ей любоваться?

– Садитесь, – сказала я в ту пятницу, как обычно говорила перед началом урока.

Дети послушно опустили на стулья и сложили руки на партах.

– Сегодня мы будем повторять изученное. – Я подошла к доске. – Разбирать слова на звуки. Для начала давайте прочитаем буквы, написанные на доске. Кто хочет быть первым?

Никто не поднимал руку. Все смотрели друг на друга.

– Рукият, вставай и почитай нам буквы, – сказала я.

Рукият лениво встала из-за парты. Честно признаться, с такими грубыми чертами лица она без хиджаба и с короткой стрижкой могла бы сойти за мальчика. Во всяком случае, лицо ее один в один повторяло лица ее братьев. А те были копией своего отца, Мамеда.

– Кэ... – прочла она.

Сирена захихикала.

– Рукият, – строго обратилась я к ученице, – я не знаю буквы «кэ» в русском языке. Есть буква «ка». Ответь, сколько букв в русском алфавите?

Девочка надулась, поводила шеей, будто разминалась на уроке физкультуры.

– Рукишка, тридцать шесть, – прошептала Сирена, прикрыв рот ладонью.

– Тридцать шесть, – мотнула головой Рукият.

– Ах, какая ты умная, Сирена, – сказала я. – Встань. Какие

гласные буквы ты знаешь? Рукият, а ты постой пока, тебе еще читать с доски.

Сирена поднялась с места и улыбнулась. Ох уже эти красивые девочки! Особенно те, которые знают о своей красоте. Не сосчитать, сколько раз я видела улыбки превосходства на их лицах. Улыбки эти подобны щепотке молотой гвоздики, которую хозяйки, слишком усердствуя, добавляют в цкен. И одной щепоткой перебивают и вкус сушеного сыра, и вкус мяса, и вкус картошки. Проходит время, и жизненные невзгоды, жестокий муж стирают эти улыбки с их лиц, а надменные девочки, знающие о своей красоте, превращаются в обычных, утомленных тяжелой долей женщин.

– Сирена, ты хотела помочь подруге, и это похвально, – говорила я. – Но помощь твоя пригодится лишь в том случае, когда ты уверена в ответе. Ты дала подруге неверную подсказку, из-за тебя она получит плохую оценку. В русском алфавите тридцать три буквы. И в нем нет буквы «кэ».

– Кэ. – Закир ткнул ручкой в спину Рукият.

Рукият обернулась и резко замахнулась на него.

– Рукият, будь мягче, ты же девочка, – сказала я. – Закир, очень хорошо, что ты напомнил о своем присутствии в классе. Рукият и Сирена, садитесь. А Закир вставай.

Дверь распахнулась. В класс влетел директор школы Садикуллах Магомедович. За ним следовали двое полицейских в форме. Шея у Садикуллаха Магомедовича багровела, будто до этого ее кто-то хватал руками.

– Встать! – рявкнул он.

Ученики вскочили со своих мест. Директор подлетел к партам, остановился возле Сирены и дернул ее за ухо, закрытое хиджабом.

– Это что ты такая?! – крикнул он. – Кто тебе разрешил, а?!

– Что происходит? – пролепетала я.

У Сирены из-под хиджаба выплыло на щеку красное пятно. Стоя у доски, я смотрела на широкий затылок директора, и он двоился у меня в глазах.

– Ты тоже, такая-сякая, быстро подошла! – директор дернул за плечо Рукият.

Слова булькали у него в горле, будто клокотали там вместе с кровью, заливавшей пятнами шею.

– Это кто тебе сказал, что в школе так можно?! – кричал он на Рукият. – А?! Я тебе покажу! – Он щипнул ее за подбородок.

Рукият дернула головой, отстраняясь. Она смотрела на директора, надувшись индюшкой.

– Вы что делаете? – тихо спросила я.

В голове у меня шумело. Даже я сама не услышала собственных слов. Меня как будто парализовало. Я не могла пошевелиться. Я будто превратилась в меловой столб и вот-вот готова была упасть на пол, разбиться на тысячу кусочков, которыми до скончания веков в этой школе будут писать на доске.

– Кто в хиджабе, выходите к доске, – приказал Садикуллах Магомедович.

– Давайте вы так тоже не делайте! – Закир выскочил вперед.

Директор вlepил ему затрещину. Закир удержался на месте и воинственно выставил вперед ногу. Мальчик слишком похож на Расула, и это не к добру.

– Сейчас вас всех заберут в полицию! – прикрикнул директор. – Там снимут с вас ваши тряпки.

Сирена всхлипнула. О Аллах, где были мои глаза раньше?! Я только сейчас обратила внимание на Мумину. Лицо ее позеленело, как будто в ее венах текла не кровь, а зеленая аджика. Она неподвижно смотрела на меня с таким ужасом, будто я превращалась в гусеницу.

– Ты тоже выходи с ними! – Наконец и директор заметил Мумину.

Девочка не отрывала глаз от меня.

– Ты что, глухая?! – прикрикнул директор.

Мумина не шелохнулась. Только дрогнул ее острый подбородок. Директор подлетел к ней, дернул за руку. Она, не отрывая глаз от моего лица, вывернула руку. Директор отпустил ее и толкнул в спину. Мумина издала протяжный клекочущий крик.

В класс вошла Марьям. Она двигалась не спеша, было слышно, как рыжая коса шуршит по ее спине.

– Что вы себе позволяете? – спокойным тоном обратилась

она к директору.

– Ты меня будешь учить? – вспыхнул он.

Марьям загородила собой Мумину, сложила руки на груди, подняла подбородок и уставилась в глаза Садикуллаху Магомедовичу. Кровь поднялась от его шеи к щекам. Он сопел и булькал, а Марьям продолжала смотреть на него своими зелеными глазами. Директор не выдержал ее взгляда и отвернулся.

– Я попрошу вас покинуть классную комнату и не мешать вести урок, – медленно заявила она, словно была хозяйкой в этом классе. – Я попрошу вас больше никогда, – она подняла указательный палец, – не прикасаться к детям. Я требую соблюдать права человека, прописанные в российской Конституции, которую вы, Садикуллах Магомедович, судя по всему, не читали.

– Соплячка! Ты что себе позволяешь? – директор стукнул себя ладонью по лбу.

Марьям уперла руки в боки. Клянусь, она ввязалась бы в драку, если бы Садикуллах Магомедович стал выдергивать Мумину из-за ее спины. Эта девушка всегда вела себя слишком нахально, никогда не уважала наши обычаи.

Мумина захрипела, как жеребенок, которому перебили горло, и рухнула на пол. По ее маленькому телу пробежали судороги. Ее голова глухо ударялась об пол. Глаза закатились, изо рта лезли пузыри. Марьям плюхнулась рядом с ней. Ее юбка задралась, показав белые колени. Она перекинула

косу за спину, достала из кармана линейку и, с трудом разжимая зубы Мумины, пачкая свою холеную руку густыми слюнями девочки, засунула линейку ей в рот.

– Девочка, родная, родная... – приговаривала она.

Я сорвалась с места и побежала из класса вон.

До чего стыдно мне было показаться отцовским стенам. Я не пошла сразу домой. Я опозорена! Марьям защитила мой класс, а я пищала, как мышь. Я успела так полюбить Мумину, а линейку ей в рот засунула Марьям. Аллах, почему ты меня так создал, что в самые важные моменты жизни у меня отнимаются ноги и язык? Но с другой стороны если посмотреть, одна маленькая женщина вроде меня не смогла бы дать отпор директору и двум полицейским. И не сделай этого Марьям, никому бы и в голову не пришло сравнивать меня с ней и говорить, будто я могла бы сделать так же, как сделала она. Многие теперь будут возносить ее смелость. Будут путать смелость с плохим воспитанием. Мое воспитание и воспитание Марьям – это небо и земля. Моя мать ни разу не повысила при мне голоса. А Патимат, бывало, разводила такой базар, что шайтана жена могла позавидовать. Чуть кому-то не посчастливилось сверх меры насплетничать на нее и чуть стоило этой сплетне задеть край уха Патимат, как та, шатаая своей ногой землю под селом, отправлялась к сплетнице, подходила к ней вплотную и плевала в глаза. Все боялись жгучей слюны Патимат. Марьям – точная ее копия по

характеру. Точная.

В конце села я спустилась вниз, к журчащей речке. Ее прозрачные волны перепрыгивали с камня на камень, радостно вскрикивая. Я зачерпнула воды, охладила в реке пальцы и приложила их к полыхавшим щекам. Надавила на трепетавшие веки.

Сняла туфли. Узкими, бледными ступнями, по которым змеями ползли голубые вѣнки, ступила в воду. Вытянула для равновесия руку: мне б не упасть. Наступила на камень, сдирая с него водяную слизь. Вытянула другую руку к горе, за которой пели птицы. Подтянула вторую ногу. Камни передали костям звенящий речной холод. Ее исток наверху, в скалах, где ледник. Холод сроднил мои кости с камнями, и камни стали продолжением меня. Вода журчала возле моих колен, будто голос в горле птицы, утекала вниз, в степь. Я каменела. Вряд ли я когда-нибудь смогу сойти с места.

Но я набралась сил и перепрыгнула на другой камень. Он выглядывал из реки, его макушка была сухой. Холод хрустнул в моих коленях. Камень больно ударил по пяткам. Ноги сейчас разобьются и украсят осколками дно реки. Я прыгала с камня на камень, пока не оказалась на другом берегу. Пока боль в пятках и коленях не заставила забыть о боли в сердце.

С детства мне казалось, я родилась с ощущением холода. Еще в утробе матери он попал в меня и всю жизнь морозил, не давал согреться на солнце. А Марьям родилась с жаром и всю жизнь печется в своей духовке. Но я не сравниваю себя

с толстухой Марьям. Слишком красивое лицо дал ей Аллах. А мое неприметное уже успело состариться. Поэтому я давно сделала свой выбор – стану безмолвным наблюдателем за счастьями и несчастьями других. Счастье мне самой на роду не написано. Но и у Марьям его в судьбе нет.

Я поскакала по камням назад, к другому берегу, где в моих туфлях и носках уже ползали неугомонные муравьи. Ах, как болят мои пятки. Ах, какой сладкой может быть боль, заставляющая умолкнуть душу и сердце. Мои ноги знают каждый камень этой подводной тропинки. Еще в детстве я прибегала сюда, когда боль в ногах становилась невыносимой. Когда она свербела и, будто беззубая старуха, вытягивала дряхлыми деснами из моих костей силу. Все не умирала эта старуха! Все не шел к ней ангел смерти Азраил! И тогда я сама шла на речку, к этим камням. Чтобы холод утомил старуху, положил ей в рот вместо моей молодой жизни кусок холодного камня.

Но был день, когда даже река оказалась бессильной. Как хорошо я помню его и сейчас. Это случилось, когда Зухра распустила волосы.

Зухра распустила волосы, и каштановые локоны упали на ее белое лицо. Я первой заметила красоту Зухры. Заметила даже раньше, чем сама Зухра. К тому времени, когда мы пошли в десятый класс, Советский Союз одержал окончательную победу над платком, избавив не только наших мам, но и

бабушек – от чохто!⁵. Непокрытой головой никого уже было не удивить, но родители все-таки не разрешали дочерям ходить с незаплетенными волосами. Такое считалось признаком распущенности у нас.

И вот настал тот день, Зухра распустила волосы. Мое сердце трепетало: как бы ее красоту не разглядел Расул. Пусть только Шарип-учитель не поднимает Зухру с места. Но Шарип-учитель поднял Зухру, задав ей вопрос. Под ее кожей как будто текло молоко буйволицы, которое Зухра выпила на завтрак. Расул повернулся. С тех пор он больше не сводил глаз с Зухры. Невидимый паучок плел липкую нить от Расула к Зухре. Один шайтан знает, что паук в нее добавил для крепости. Моя ручка ударилась об пол – я специально уронила ее. Раньше Расул не оставлял без внимания ни одного моего движения. Но, разглядев Зухру, он в мою сторону больше и бровью не вел.

– Джамия, подними ручку, – сказал Шарип-учитель, внимательно глядя на меня.

Я нырнула под парту, чтобы скрыть свой стыд. Откуда учителю знать? Почему он всегда знает всё? Наверное, в тот момент он знал и то, что попавших в паутину нас будет трое. И всю жизнь мы будем барахтаться в ней – Зухра, Расул и я. Но он ничего не знал о Марьям. Его дочери тогда исполнилось два года.

⁵ Дагестанский женский головной убор, похожий на трубу с завязками вокруг головы.

После уроков Расул пошел за Зухрой. Он брел на расстоянии, не упуская ее из виду. Как медведь-шатун, выползший из берлоги зимой, идущий под ружье охотника, повинуюсь сильному зову. А я бросилась к речке. Встала на камни. Несколько раз перебежала с берега на берег. Но речка в тот день мне не помогла.

– В чем дело, дочка? – строго спросил отец, откладывая в сторону газету. – Ты опять ходила туда?

Я вернулась домой и зашла на веранду, где в мягком кресле отдыхал после работы отец.

Да, отец, опять я ходила туда. А камни, такие гладкие с виду, снова поцарапали мои ступни. Под гольфами и туфлями спрятаны порезы, они саднят. Но сердцу больней. Сейчас оно лопнет, и ты услышишь, отец.

– Откуда столько камней у нас в селе, отец? – срывающимся голосом спросила я.

Он поднялся из-за стола – высокий, широкоплечий. Провел двумя пальцами по полоскам черных усов. Отец – партийный работник. Он бывал даже в Москве. Отец знает всё. Не как Шарип-учитель – отец знает по-другому. А я, Джамиля, – его единственная дочь. Других детей у них с матерью не было. Я стояла перед отцом, мои ноги весили как телега, как дом, как целое село, и я снова спрашивала себя: мой отец любит меня потому, что я – Джамиля, сотворенная Аллахом в единственном и неповторимом экземпляре, или потому, что я единственный ребенок, сотворенный им самим?

– У тебя снова болят ноги? – вместо ответа спросил отец.

Неглубокая морщина мелькнула меж его бровями и исчезла. Это острое лезвие невидимого кинжала прочертило ее. Но порезы на лице моего отца заживают быстрее, чем на моих ногах.

– Отец, я просто хочу знать: откуда столько камней у нас в селе?

– Дочка... – Отец погладил меня по голове. От его пальцев пахло табаком. – Разве вам на географии не рассказывали? Земля очень старая, даже всякие песчинки-пылинки за миллионы лет могут собраться вместе и затвердеть так, что получится камень.

– Но я же спросила тебя, почему именно в нашем селе столько камней! – крикнула я. – В городе не столько камней!

– Когда ты повзрослеешь, то поймешь, что в городе – свои камни. Там их тоже немало, – ответил отец.

Он говорил тогда о чем-то своем. Но мне было его не понять. А он не понимал, что в тот день его дочь принесла с речки сердце, полное камней, как приносит бабушка осенью яблоки и орехи в подоле. До сих пор я живу с этим грузом и камни отзываются, когда до них доходит каменный зов арки, к которой я сейчас прислоняюсь спиной. Еще десять минут, и Зарема тряхнет колокольчиком. Но я хочу успеть подумать о руках моей бабушки.

Руки моей бабушки были мягкими, как перины, набитые пухом райских птиц. Бабушка в молодости часто носила на

спине огромные, размером с телегу, стога сена. От этого ее спина скрючилась. Когда я родилась, бабушка уже ходила согнувшись, словно несла на спине невидимый стог сена. Бабушка все время жаловалась на больные кости. Но ее прикосновения были такими мягкими, будто в ее руках совсем не было костей.

– Терпи, внучка, – уговаривала она, держа мои ноги на своих коленях и промокая раны ваткой, смоченной спиртом.

– Ай! Ай-ай! – морщилась я.

Мать в это время крутилась на кухне. Из котла, стоящего на печи, поднимался жирный томатно-мясной пар.

– Что за ребенок? – ворчала мать. – У всех дети как дети. Мне одной наказание.

– За шурпой следи! – оборвала ее бабушка.

Она никогда не была мягкой с матерью. С моей матерью бабушка была как камень.

– Пф-ф! – отозвалась мать, повторив звук, с которым брызги жирного бульона сгорали на печи.

Бабушка сделала вид, что не слышит.

– Ай-ай, дорогая моя внучка, – приговаривала она, – до свадьбы обязательно заживет. Только ты больше так не делай. Зачем по камням ходить? Вай, успею ли я научить тебя, как жить, пока еще жива? Твоя мать тебя ничему путному не научит. Джамия, слушай всегда меня. – Она обнимала мои стопы и с любовью заглядывала мне в глаза. – Больно будет, сразу к бабушке приходи, бабушкины руки лечат лю-

бые раны.

– Бабушка, почему у тебя нет костей? – спросила я.

– Вах! – Бабушка на миг выпустила мою ступню и, зажавшись, засмеялась. – Нет костей, говоришь? Знала бы ты, как я зато их чувствую! – Она улыбнулась, показав голые розовые десны. – Особенно по вечерам как хорошо я их чувствую. Валлахи, у меня бывает чувство, как будто мои кости – не кости, а сухой хворост. Подниму что-нибудь тяжелое, и косточки мои сразу сломаются.

– У тебя на руках столько веснушек, – сказала я. – Не считать. Больше, чем у меня на щеках.

Бабушка выпустила мою вторую ступню. Подняла руку к подслеповатым глазам. Свет лампы, низко висящей под потолком, жужжа пробрался между ее пальцами, окрасил серым пятна, усыпавшие ее руки.

– Ах-ха, – скрипуче рассмеялась бабушка, – это разве веснушки? Это цветы смерти, внучка. Скоро такие вырастут на моей могиле. Зачем тебе их считать? Ты лучше считай веснушки на своем носу. Валлахи, как они украшают твое красивое личико.

– А я красивая, бабушка?

– Уй! – Она сложила на груди руки, словно держала в них маленького цыпленка. – Такой красавицы, как моя Джамиля, во всем селе не найти.

Только в тот вечер я не верила словам бабушки. Даже весенние цветы, распускавшиеся на моем лице, не могли

скрыть того, что ему не досталось ни капли красоты. Мать считала меня дурнушкой. Она этого вслух не говорила, но скоро произнесла слова, подтвердившие мои догадки. Мать не любила меня. Она не любила отца. Она не любила бабушку. Я не знаю, кого любила моя мать.

Той ночью я уснула и спала сладко, забывшись и забыв о Расуле и Зухре. Раны на ногах успокоились. Меня разбудили громкие голоса родителей. В первый и последний раз в жизни я слышала их ссору. Но об этом вспоминать я сейчас не хочу. Лучше мне выйти из арки. Мое время истекло – Зарема вот-вот даст звонок.

К школе лепится деревянная пристройка. Летом ее заново покрасили белым, но за осень она успела пожелтеть. На ее крыше развевается российский флаг, делая пристройку похожей на рубку, а саму школу – на корабль, который плывет по склону вниз.

Я заспешила по коридору. На стенах отливали бликами фотографии учителей и учеников. Отдельная доска была отдана бывшим директорам. Самый первый заступил на наш корабль в тысяча девятьсот тридцатом году. Только начиналась школа не здесь, а в старом медресе, откуда выгнали чтеца Корана. Но в медресе не хватало места, и скоро рядом была построена настоящая школа.

Садикуллах Магомедович стал директором, когда я оканчивала десятый класс. Ходили слухи, что директором назна-

чат Шарипа-учителя, мол, его вызывали в районо, но кто-то ему в последний момент перешел дорогу. Помню, как много лет назад, перед выпускным, я стояла в школьном дворе под деревьями, только что побеленными свежей известкой, и ждала, когда закончится урок физкультуры, от которой я была освобождена. Ко мне подошла Зарема. В одной руке она несла ведро, оттуда свисала половая тряпка.

– Джамиля, дочка, – обратилась она ко мне, – как нехорошо будет, если Шарип-учитель не получит того, что заслужил.

Зарема поставила ведро на землю, наклонила голову вбок, ловя мой взгляд.

– Все знают, как твой отец тебя любит, – сладким голосом проговорила она. – Просто скажи отцу, что Шарип – хороший учитель. Как он вас хорошо учит, как он любит вас. За себя он так не переживает, как за своих учеников.

Зачем колокольчик доверили уборщице, не могла понять я. В первом классе мне казалось, в него должен был звонить сам директор.

Вечером, когда отец, как обычно, читал газету на веранде, мотыльки кружили под приглушенной лампой, а из темноты, словно на ее свет, текла прохлада, и стрекот насекомых, и мерцание ярких звезд, я позвала отца. Он поднял от газеты голову. Невидимый кинжал снова чиркнул по его лбу.

– Шарип-учитель очень хорошо учит нас, – сказала я.

– О чем ты говоришь? – Отец нахмурился.

– Все так говорят.

– О чем говорят?

– Говорят, он должен получить то, что заслужил, – оробела я. Хотя, клянусь, ни одного дня я не боялась отца! Но, с другой стороны, я ведь не понимала, о чем веду речь и чего добиваюсь от отца.

– Вот он и получит. – Отец нахмурился и встряхнул газетой. – То, что заслужил.

Я промолчала. Отец снова углубился в чтение или сделал вид, что читает. Но даже в тусклом свете лампы было видно: он рассердился.

Может быть, неделя с тех пор прошла, а может, две – я не помню. Но скоро Зарема снова поймала меня в школьном дворе. Стоя под яблоневым деревом, усыпанным розовыми цветами, я дышала тонким ароматом будущих яблок, и у меня кружилась голова от мыслей о Расуле. Мы с отцом только вернулись из Хасавюрта, где заказали известной на весь район портнихе выпускное платье. Она взяла наш заказ без очереди – из уважения к отцу. А так к ней очередь занимали еще с сентября. После первой примерки я убедила себя: Расул обязательно будет танцевать со мной на выпускном. Такую самонадеянность мне внушила портниха; зажав булавки в зубах, она смотрела на меня снизу вверх и, не забывая сценно поплевывать, говорила: «Машалла, какая красавица! Как все ж таки одежда меняет человека. Машалла, цпы-цпы-цпы». Я поверила ей, как верила бабушке. Вынув булав-

ки изо рта, портниха сказала моему отцу: «Клянуся, в следующем году придете ко мне свадебное платье шить. У меня глаз на такие вещи наметанный, глаз-алмаз. Я в таких вещах ни грамма не ошибаюсь, вот увидите».

Знать бы мне тогда, что последний звонок никогда не станет для меня последним. Что звон колокольчика я буду слушать на протяжении всей жизни, стоя у доски в роли учительницы. Мои одноклассники будут жениться, давать жизнь детям, и наконец настанет тот день, когда они приведут своих детей ко мне в класс и будут заискивающе заглядывать мне в глаза, чтобы я сделала тех своими любимчиками. А я так и буду стоять у доски, одинокая и бездетная, с пригоршней камней, принесенных с речки, там, где сердце.

Зарема прервала мои мечты о Расуле. Приставив ладонь козырьком к глазам, она смотрела мне в лицо и ухмылялась. В руке у нее снова было ведро.

– Ай, Джамиля, ай, девочка! – Зарема покачала головой. – Не знала я, что ты способна такие вещи делать!

– Какие вещи? – смутилась я.

– Ты и сама знаешь, что натворила. А с виду такая тихая. – Зарема вытерла ладонью рот, как будто только что произнесенные слова испачкали его.

– Я ничего не понимаю, – пролепетала я.

– Если ты не понимаешь, то кто поймет? – Она подхватила ведро и выплеснула его мне под ноги.

Мутный грязный ручей ушел в землю. Войдя в школу, я

узнала, что у нас будет новый директор – Садикуллах Магомедович, бывший учитель химии.

На втором этаже по коридору еще носились ученики. Увидев меня, Мехмет и Закир юркнули в классную дверь. На первом этаже задребезжал колокольчик, врываясь в открытые двери, и одновременно с его звоном я вошла в класс. Ученики поднялись, отодвигая стулья. Я заняла привычное место у доски.

После первого урока у меня было окно до третьего. Я задержалась ненадолго в классе, разглядывая опустевшие парты. Железную печку в углу. Старые оконные рамы, спаянные между собой. Что я ни делала, никак не смогла их разделить, и между ними копилась пыль десятилетий, а иногда маленький паук плел паутину. Неужели и этот год пройдет, не принеся в мою жизнь изменений? Ученики перейдут в пятый класс. Для них время идет медленно. А мое время спешит, бегом бежит с горки, и я не успеваю оглянуться, как проходит год. Слишком быстро начал вертеться земной шар. Или Земля стала круглей.

Я вышла в коридор. Из-за закрытых дверей доносились громкие голоса учителей, ведущих урок. Деревянный пол скрипел под ногами. Все стены покрашены голубой краской. Возле моего класса на стене висит табличка с надписью: «Книги – это корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от по-

коления к поколению. *Ф.Бэкон*». Она висит тут с незапамятных времен, как и другие высказывания, преимущественно дагестанских мыслителей. Я привыкла проходить мимо этих слов, не замечая их. Но, видимо, надо слишком много времени провести на одном месте, чтобы наконец увидеть привычное как в первый раз. А когда я все-таки прочла эти слова как в первый раз, их смысл зашел глубоко в меня. Только слово «книги» мои глаза заменили на «школа». Школа – это корабль.

Скрипнув дверью, я вошла в учительскую. Учительница рисования Саният Халиловна и учительница географии Барият Абдулаевна шептались за столом, во главе которого на привычном месте возле электрического чайника восседала Зарема. Слава Аллаху, хотя бы свое ведро она оставляла за дверью. Отдуваясь, Зарема пила горячий чай вприкуску с карамельной конфетой. Я сдержанно поздоровалась. Кумушки примолкли.

Присев с другого края стола, я разложила на нем тетради учеников и свои конспекты. Иной раз мне кажется, хабар⁶ – сам по себе живой. Прервешь человека на полуслове, и хабар будет вертеться в нем будто джинн. Лопнет человек от натуги, если не выпустит хабар. Саният с Барияткой еле сдерживали своих джиннов. Не выдержав, кумушки продолжили разводить хабар, не имеющий отношения к учебному процессу. Зарема причмокивала языком, высасывая из конфеты

⁶ Разговор, весть, новость.

повидлю.

– Клянусь, вот как волю этим лесным дали, они нам вот весь мир перевернули, – прошептала Бариятка.

До чего глупая женщина. Думает, если она будет шептать, как через ржавую терку, я не услышу ее слов.

– Еще черный надела, хоть бы зеленый тогда или синий выбрала. – Саният положила в рот новый кусочек сахара и запила чаем.

– Сами закроются, а сами с посторонними мужчинами гуляют. Таких в Махачкале полно. – пышной грудью Бариятка надавила на стол, потянувшись к вазочке с засахарившимися финиками.

– Нцуй! – Зарема причмокнула. – Кто тебе такое наговорил про Марьям?

– А ты знаешь, чем она в Махачкале занималась? – вопросом ответила Саният, поправив высокий начес на макушке.

– Повышением квалификации, вай, – важно отозвалась Зарема. – Давайте чего нет, того не будем говорить.

Саният закатила глаза к потолку. Ее лицо было сверх меры напудрено и разрисовано румянами. Всем своим видом она говорила: спорить не буду, но сами посмотрите.

– У меня в десятом вот классе уже мальчики бороду отпускают. Еще ничего у них там не растет, чуть-чуть волосинки пробиваются. Торчат, как козлиные волоски. Противно смотреть.

– Ух-х! – закатилась хохотом Зарема.

– А ты приходи ко мне на урок в девятый, – засмеялась Бариятка. Качнулись ее массивные золотые серьги. – Сама посмотришь. Все мальчишки на общипанных козлов похожи.

– А-ха-ха! – Зарема ухватилась за рыхлые бока.

– Еще ничего не растет, – продолжала Бариятка, – а они все равно отращивают. Все теперь хотят на этих походить. – Она качнула головой в сторону леса, тихо брякнули ее серьги.

За окном виднелась скала. С другой стороны подступала еще одна – лысая гора. Всегда на ее верхушке сидел белый комок тумана, и в ненастные дни он сползал, почти ложился на крышу, отчего казалось, что школа горит. Не туда кивает Барият. Лес с другого края села.

– У них же теперь других героев вот нет, кроме Расула Бороды, – добавила Барият.

Вся тройка посмотрела на меня. А я тут при чем? Послушала бы Марьям, как эти кумушки глодают ее сахарные кости, тогда бы не мне замечания делала, нахалка такая. Над Барияткой даже ученики смеются – почти к каждому слову лепит свое «вот». Точно как наши бабушки раньше лепили лепешки навоза к стенам сушиться. И разговоры Барият – пахучие, как кизяк.

Я отвела взгляд в сторону. Над сейфом, покрашенным голубым, висел портрет президента. Раньше на этом месте всегда висел портрет Ленина.

– Теперь посмотрим, чем закончит Марьям. – Саниятка

пригладила бордовое платье на коленях. – Сегодня черная тряпка на голове. А завтра что?

– Пф! – фыркнула Барият. – Я тебя умоляю! – Голос перекатился в ее горле маслянистым комком. – Думаешь, она за одну ночь стала такая верующая и эту тряпку надела? Пф! Еще в пятницу на ней была юбка с вот таким разрезом. – Бариятка отмерила руками полметра. – И за одну ночь ей Аллах в голову другие мозги положил? Не поверю никогда. Это она, чтобы Расулу Бороде угодить, хиджаб надела.

– Зачем Марьям Расул Борода? – недовольно поморщилась Зарема.

– Как зачем? – засмеялась Саният. – Зачем женщине мужчина?

– Что вы мне тут говорите? Пах! – возмутилась Зарема. – Что, у Расула жены нету?

– Какая ты отсталая, Зарема. – Саният снисходительно погладила Зарему по спине. – Жена – уже давно не проблема. Проблема – только деньги. Деньги будут, можно и двух, и трех жен содержать.

– Расул – не такой человек, – отрезала Зарема.

– Все они такие, – ответила Барият. – Все мужчины – свиньи.

– Фатима тебе тысячу раз подтвердит, – вставила Саният. – Вчера она тут сидела рыдала: уй-вуй, какой Султан свинья.

– Султан – сморчок! – Зарема брызнула сладкой слюной. –

Он Фатимы не достоин, не знаю, зачем она вышла за него. Как ему теперь не стыдно?

Неужели Расул приходил к Шарипу-учителю прошлой ночью? Видела же я, как Ильяс под вечер отправился в сторону леса! Значит, Расул прошел прямо под моим домом, спускаясь к ним. И не стукнул в дверь, не дал о себе знать. Хоть одним глазком увидеть бы мне его. Хоть его тень. Мне и тени хватит, чтобы дальше растворяться в мечтах, как кусочек рафинада в теплом чае.

– Не знаю, куда Шарип-учитель смотрит, – делано вздохнула Барият.

– Куда-куда? – повела плечами Саният. – Понятно куда – в сторону леса.

– Вуй-й-я! – подскочила Зарема, она оттолкнула свой стакан с чаем на середину стола. – Таких учителей, как он, еще поискать! Его ученики в университеты, в институты поступали! – возмущенно трещала Зарема. – Как вам не стыдно своими языками закусываться на святое?

Саниятка с Барият расхохотались. В окно ворвалась громкая ругань. Кумушки бросились к окну, и я, не утерпев, последовала за ними. Во дворе прямо под окном физрук Заурбек хватал за грудки тщедушного учителя истории Кази. Растрепанная Рукият стояла позади них. Одетая в спортивный костюм, она вытирала глаза концом хиджаба, который держала в руках. Под деревьями толпились запыхавшиеся от стометровки, хватающиеся за печеньку ученики.

– Я на части тебя порву! – Заурбек занес над Кази руку и распустил пальцы. – Ты, может быть, из этих, гха?

Кази локтем пихнул физрука в живот:

– Из каких?

– Из таких!

– Может, ты сам из таких?

– Из каких я? Имена произнеси – из каких?

– Сам сначала произнеси.

– Будь мужчиной, отвечай за слова. Хайван! – Он толкнул Кази.

Учитель истории отлетел, упал спиной на землю. Бариятка подпрыгнула, задев меня выпуклым задом. Кази поднялся и, расставив руки, пошел на физрука. Заурбек дунул в свисток, висящий на шее.

– Ты мне тут не свисти! – Кази прыгнул на него, выставив вперед острое плечо. – Соловей-разбойник тоже мне!

– Ты сейчас за соловья и за разбойника ответишь, хайван! – Заурбек выплюнул изо рта свисток. – Ты сейчас на коленях пощады будешь просить, когда я начну твою душу топтать!

Нахохлившийся Кази еще раз прыгнул плечом на Заурбека и сам от удара упал на землю. Физрук остался стоять, поводя бычьей шеей. Кази поднялся. Физрук прыгнул на него и повалил. Они покатались по траве к забору.

Из школы выбежала Зарема. Подскочив к дерущимся, она потряхнула колокольчиком.

– Хватит! Хватит! – кричала Зарема, перекрикивая настойчивый звон.

Физрук отпустил Кази и поднялся, поправляя красную спортивную куртку с вышитой на спине головой быка. Зарема мягко ударила его ладонью в грудь, уводя подальше от Кази. Кази поднялся. Наклонившись, он чистил колени, испачканные в траве.

– Заурбек, что с тобой? – увещевала Зарема, удерживая физрука, который сжимал кулаки, качался на выставленной вперед ноге, будто в ней была пружина, и делал вид, что хочет вырваться. – Ты смотри, какой ты здоровый! – подбирала Зарема льстивые слова. – А он какой? Худой он. Убьешь его, нехорошо получится. В тюрьму тебя посадят.

За школьной оградой остановилась старая «лада» Садикуллаха Магомедовича. Он вошел во двор, неся пухлую папку под мышкой.

– Что тут, а? – спросил он, увидев собравшихся учителей и учеников.

– Садикуллах Магомедович! – Физрук вырвался из рук Заремы. – Вы же сказали, чтобы ученицы больше в хиджабе на уроки не приходили. А эта, – он показал на все еще плачущую Рукият, – пришла, на спортивный костюм свою тряпку сверху надела. Мы же тут за школой стометровку бежали. Я ей говорю: «Сними». Она говорит: «Отец меня убьет, если сниму». Я говорю: «Слушай, а меня директор убьет, если не снимешь. А директора райотдел убьет». Потом этот вме-

шался. – Физрук показал на Кази. – Подонком меня назвал. Я тоже не могу же это терпеть. Говорит: «Оставь ее в покое. Крайним ребенка не делай». Тогда пусть бежит стометровку в тряпке, что ли?

Садикуллах Магомедович, прижимая локтем к боку папку, поднял руку и шлепнул себя ладонью по краснеющему лбу.

– Что вы тут цирк устроили? – гаркнул он, вращая глазами. – Не стыдно? Вся округа смотрит! Ко мне в кабинет заходите теперь!

Размахивая свободной рукой, будто отталкивая от себя что-то, липнущее сзади, он быстрым шагом направился к входу.

Зарема, подслеповато прищурившись, посмотрела на часы, провела по циферблату пальцем, будто подгоняя стрелку, пожевала губами и поспешно встряхнула рукой.

– И так меня таскают по райотделам! – доносились крики из-за двери директора. Ее створки прилегали друг к другу неплотно. Зарема, вынув любопытное ухо из платка, стояла под дверью, приложив согнутую ладонь к щели. – К министру образования только что в Махачкалу вызвали! Одни нервотрепки! И вы мне еще тут! – Раздался хлопок. Наверное, директор ударил папкой по столу.

Зарема на секунду отпрянула.

Учителя собрались в коридоре. Дверь сотрясали крики,

которым не удалось просочиться сквозь щель. Словно два огромных джинна боролись за дверь. Переворачивались, обхватив друг друга руками, задевали мускулистыми спинами потолок, и обжигающий пар схватки мог сорвать створки с петель. Я посторонилась.

– У меня тоже терпения больше ни грамма не осталось! – захлебывался директор. – Несколько лет они тряпки свои в школу носили, я закрывал на это глаза! Теперь указ пришел сверху – Министерство образования Российской Федерации определило свои требования к форме одежды учащихся! Внешний вид школьников должен соответствовать принятым нормам, – отстукивал он каждое слово ладонью по столу, – и носить светский характер! А-а? Вы чего от меня хотите?! Чтобы меня уволили вы хотите, да? Меня уволят, за это тоже не переживайте! – Голос директора сорвался. – Придет другой, назначенный министерством, он не позволит вам фокусы устраивать тут! Это я вас распустил!.. Теперь пожмите друг другу руки и идите на свои уроки, хватит мне тут цирка, – примирительно произнес он, на секунду замолчав. – С отцом ученицы я сам поговорю.

Зарема прилипла к щели. Потом она уверяла, будто собственными глазами видела, как Кази и Заурбек через не хочу, из-под палки директора пожали друг другу руки. Директор мог бы чувствовать себя удовлетворенным, если бы, выйдя в коридор, ему не пришлось узнать – завуч его школы тоже закрылась. Марьям подошла к директорскому кабинету в

тот самый момент, когда оттуда выскочил красный, как индюк, Заурбек и устремился по коридору направо, а следом бледный Кази – и устремился налево. Переступив одной ногой порог, Садикуллах Магомедович нос к носу столкнулся с Марьям. Она стояла и смотрела на него из-под черного хиджаба. Директор схватился за косяк двери, словно на голове Марьям лежало не черное покрывало, а кишел и шипел клубок змей. Директор пошатнулся, отпрянув назад. Может быть, в этот самый момент Садикуллах Магомедович уже предвидел свое будущее. Как и то, куда может поплыть наш корабль-школа и куда он понесет его самого, а может быть, и всех нас на бурных волнах новой действительности, которая разрушит все старое, все то, что камень за камнем закладывалось нашими предками и казалось незыблемым, нерушимым. Наверное, директору захотелось спрятаться в недрах своего кабинета – туда, где жили его собственные советские джинны, неподвластные ни новому времени, ни новой религии. А Марьям все стояла и смотрела на него.

– У тебя кто-то умер, Марьям? – выдавил из себя Садикуллах Магомедович.

– Жизнь временна, перед нами вечность, – негромко отозвалась Марьям.

Ее губы тронула слабая улыбка, родной сестрицей которой была насмешка. Насмешка, приправленная щепоткой сожаления. Марьям словно тоже предвидела, куда поплывет этот большой неповоротливый корабль – наша школа.

К вечеру село разделилось на тех, кто одобрял ношение девочками хиджаба, и на тех, кто был против.

Своего предка Занкиду, о котором так часто рассказывала бабушка, я представляла огромным, рыжим, с конопатым лицом. Сидящим над котлом, в котором кипит буза. Так повелось с детства — стоило бабушке сказать, что перед каждым убийством Занкида видел во сне котел с кипящей бузой — хмельным напитком, из которого рождаются бузы и скандалы. Завел себе Занкида немало врагов из разных тухумов. Говорят, всего четырнадцать человек убил он, но после первого десятка, увидев во сне котел с бузой, он плакал, сожалея о том, что придется пролить еще чью-нибудь кровь.

На другом краю села жил враг Занкиды по имени Хачил. Но сельскохозяйственные постройки он имел с той стороны, где стоял дом Занкиды. Из-за вражды, а причины ее время не сохранило, Хачил ходил к своему хозяйству не напрямую, через село, а в обход, чтобы не повстречаться с Занкидой. Не мог он посещать и мечеть: она стояла с той же стороны. Занкида гордо, напоказ прохаживался у дома Хачила, к тому времени он убил двух родных братьев Хачила. Никто не знает, сам ли Хачил в один из дней решил выстрелить в Занкиду из окна или это сделал кто-то из его молодых племянников. Пуля оцарапала Занкиде плечо, и страшное варено мести в его душе забурлило сильнее, бузу во сне он снова увидел тут же. А если Занкиде приснилась буза, то ни-

кто не дал бы за жизнь Хачила и горсти заплесневелой муки. Поэтому, завернувшись в саван, Хачил отправился в мечеть, показывая, что уже принял смерть и дело теперь только за мстящей рукой. Занкида не упустил случая и поразил врага кинжалом. Саван он забрал себе. Потом Занкида просил похоронить его самого в этом саване, испачканном кровью врага. Хотел ли он и на том свете внушать страх своим врагам, отправившимся в загробную жизнь молодыми и поджидавшими там его? Или так хотел показать, что кается и готов держать ответ за убийства, продиктованные не только честью, но и воинственным нравом?

Над телом поверженного врага Занкида пообещал, что убьет и последнего брата из их семьи – самого младшего.

За новой кровью отправился Занкида высоко в горы, там парень по имени Гисало пас отару овец, в село он не спускался подолгу. Гисало не сделал Занкиде ничего плохого, кроме того, что был родным братом Хачила.

Поднимался Занкида вверх налегке, нес с собой только кинжал. Камни тихо шуршали под его ногами, обутыми в кожаные чуваки. Один раз Занкида увидел орла, парящего в раскаленном небе, расправив плоские крылья. Он, как и сам Занкида, острым глазом высматривал добычу.

– Скоро будешь клевать печень моего врага, – обратился к нему Занкида.

Кончились чабаньи тропки, но Гисало нигде не было видно, хотя каждая новая гора, покорившаяся ногам Занки-

ды, открывала широкий обзор нижних плато, пологих хребтов, заросших мягкой травой, голубых озер, сверкающих на солнце, будто груда драгоценностей из пещеры джинна. Звонящая неподвижность природных картин, которые не менялись веками, не заставила Занкиду впустить в душу горный покой. Он только высматривал врага.

Чабана Занкида увидел за перевалом. Тот, расстелив на траве рубаху, возносил молитву Господу миров. Оторвав лоб от земли, чабан заметил Занкиду, но продолжил свое дело. Занкида стоял словно в нерешительности, хоть глаза его и наливались новой кровью.

– Я не буду тебя убивать, – наконец обратился он к чабану. – Я вижу, какой ты мужчина: когда я подошел к тебе, ты даже не изменился в лице.

– Если потом будешь говорить, что Гисало испугался перед тобой, то лучше убей. – Гисало вытащил из-за пояса кинжал и протянул Занкиде.

– У меня свой кинжал есть, – ответил Занкида, повернулся и ушел.

А лучше бы убил он тогда Гисало.

Брак, в который вступила дочь Занкиды Булбул, мог бы породнить нас с родом Шарипа-учителя, но вышло все по-другому. Бабушка говорила: бесчестье запятнало наш род через Булбул потому, что она унаследовала характер отца. А младший брат ее, чернявый Хадис, был тихим, весь в мать, смуглую Хажие. Жена Занкиды была похожа на маленький

уголек с глубоко упрятанной искрой. Говорили, Занкида доконает ее, уложив в могилу раньше отмеренного ей Аллахом срока. Но она пережила своего мужа и стала свидетельницей того дня, когда на его могиле был водружен серый острый камень, на котором мастер по заказу еще живого Занкиды высек слова: «Здесь лежит Занкида – хозяин этого камня». И после смерти моему свирепому предку хотелось властвовать, и если он больше не мог брать власть над живыми, то взял ее хотя бы над камнем.

Бабушка говорила, Занкида выбрал для дочери неправильное имя. Оно напоминало звук, с которым в его снах, кипя, булькало тяжелое варево из овса и пшеницы. В день рождения Булбул Занкида не налил своим гостям бузы: рождение девочки не считалось событием, достойным того, чтобы пить хмель. Булбул сама стала бузой, пролившейся из котла и утопившей наш род в позоре.

В день свадьбы на Булбул надели шелковые шаровары, расшитые снизу золотыми нитками; по красной ткани, обнявшей щиколотки Булбул, пролетали орлы, драконы, сплетались лозы винограда, вытканые мастерицами. Говорят, до пришествия ислама наши предки-язычники верили в драконов, живущих на солнце, орлов, съедающих печень умерших и уносящих их души на крыльях к раю. Давным-давно дагестанцы верили: душа находится в печени человека. Ислам заставил наших мастериц отказаться от языческих сказок, но мастерицы схитрили – перевернули символы в другую сто-

рону так, чтобы те узнавались только в отражении зеркала, убрали одну линию, а другую прибавили, зашифровав узор. Время шло, старые сказки улетели туда, откуда не возвращаются даже на ветряных конях. Грешно стало верить в сказки. Перестали люди читать узоры на вышивках и коврах. Нынешние мастерицы просто копируют их, не понимая смысла. В то утро, когда Булбул обряжали к свадьбе, только опытная мастерица могла бы прочесть историю вышивки на ее одежде. И оттого, что в тот раз не оказалось сведущей мастерицы в селе, и случилась беда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.